

Олеся Николаева

Я говорю: за наших!

Взаймы

Сумерки водянистые
сгущаются на ходу.
Словно бы серебряные
ели в снежном саду.

Встрепенёшься, разбужена
тайным пеньем из тьмы.
Всё это незаслуженно —
в долг этот сад, взаймы.

Лучшие украшения —
скрипочка со смычком —
все покроют лишения,
все лежанья ничком.

Сердцем — за музыкантами,
глядь — а на дне сумы
ларчик резной с талантами:
в долг это всё, взаймы.

А не отдашь — сторицею
взыщется за постой:
будешь немой черницею
воздух глотать пустой.

Ведь недаром у сумрака
столько умбры, сурьмы,
столько охры, и сурика,
и багряной каймы!

И не за так — слетаются
ангелы петь псалмы —
небо с землёй срастаются
под прикрытьем зимы.

Что отдам за победное
таинство, Элогим, —
Это ль пальтишко бедное
с сердцем моим под ним?..

Рифма

Война рифмуется с виной,
и со страной, и со струной,
когда с надрывной скрипкой
встречается смычок большой...
Война рифмуется со мной,
растерянной и хлипкой.

Но рифма ведь — не просто так,
не только путь, не только знак
и звуков совпадение:
там свет вверх и тьма внизу
вдруг вспышкой сходятся в глазу
для нового виденья.

Владенья нового! Двоясь,
живой с живыми ищет связь —
дуэта, перебранки...
Глядишь — а мир как будто взвесь,
ан прикреплён к корням и весь
переплетён с изнанки.

...О рифма! Как она порой
с напарницей вступает в бой:
и дразнит, и кошмарит.
Аж крови вкус на языке,
и в материнском молоке
козлёнка сдуру варит...

Войной она идёт за мной,
пугая тёмной крутизной,
раскинутой кромешно.
И получается — война
срифмована, предречена
и — неизбежна!

Какие тонкие материи
плетёт за окнами зима,
за их завесами — мистерии,
театр теней, игра ума.

В средневековых облачениях
свечей блуждает робкий свет.
И нечто в тайных изречениях
готово приоткрыть ответ.

Живая жизнь узнать заранее
желает, что ей предстоит,
и собирает предсказания.
Её сама двоит, трои.

То видит долю неимущую,
то взрывом сердце поразит.
Так заглянувшего в грядущее
то кинет в жар, то просквозит.

Посланьем кажется космическим
падение снежного дождя,
к корням оккультным, архаическим
и доевангельским сводя.

Впадает в древний ужас перстное
беспомощное существо,
и мнится — воинство небесное
над ним справляет торжество.

Накопленное поколениями
шлёт дальше свой видеоряд...
И дети спящие — с виденьями
зимой ненастной говорят.

Свои

Даже если серость волчья
скалит зубы на тебя,
отворачивайся молча,
не смущаясь, не скорбя.

И своё благоволение
выкажут тебе свои —
легконогие олени,
овцы, белки, соловьи.

Потому что это ересь —
напустить в свой огород
волчий эрос, волчью серость —
этот волчий обиход.

Мы, храня святое имя
меж тринадцати морей,
с беззащитными своими
защищённые царей.

Бродит памяти жница,
смотрит, как век мой сжат.
Только сердце томится,
оглядываясь назад:
хочет там уместиться,
а ноги-то здесь висят,
раз опоздала родиться
лет на сто пятьдесят.

Поезд ушёл с вокзала.
Шапок разбор. Разброд.
Тёмные после бала
окна, завален вход.
Лишь старомодный ало
бьёт по глазам восход.
Всюду я опоздала,
вспять летя наперёд.

Вот увяла и роза,
вот и смолк соловей.
Вот и иссохла проза:
фабуле тесно в ней.
Вот и рифма с обоза
сброшена в реку дней.

...Плачь же, как Лакримоза,
в царстве бродя теней!

Картина

Время разоблачений. Следовательским глазком
каждого зацепляет. Шапка горит на воре.
Дни скачут на блохах, ночи — ползут ползком.
Рак свистит на горе. Плачет кот в коридоре.

Ищет, кого бы клонуть, клюв костяной.
Спор бесконечный: кто петуха зажарил?
Каждому кажется: всё это не со мной, —
словно вместо амброзии век ему уксус впарил.

У лицемеров сладкой воды полное решето.
У самозванцев — рыльце в пушку, в перьях лебяжьих.
В грудь упирается палец: ты с кем? Ты кто?
Ты за кого?
Я говорю: за наших.

Сядешь — как на иголках, ходишь — так ходуном,
словно картина Брейгеля обжилась в подкорке,
увеличенная стократно тревожным сном:
«Фламандские пословицы-поговорки».

Но и в картине этой — сияние, красота:
сколько праздничных красок и струй воздушных,
словно где-то внутри музыка разлита.

...Нас вот таких — вероломных и малодушных —
глубже наших зыбей и речей натужных
в свете Своей любви видит Господь с Креста.

Запад и Восток

Чай, не в тартарары летим, но провалам всем — поперёк.
Наше солнце, как пилигрим, возвращается на Восток.
Ночью канет на Запад — впрок принесёт оттуда к утру
романтизма алый цветок, расцветающий на ветру.
Образ рыцарства, трепет крыл, от которых внутри сквозит,
ну и то, чему научил младших братьев иезуит:

«Ты подумал — не говори, а сказал — не пиши, остынь,
простодушен, как рыбаки или странник среди пустынь.
Ну а если уж написал — не подписывай, будь незрим,
чтоб не смел никакой вассал зацепить тебя, аноним.
А когда подписал — чего ж удивляться, ответ держи,
отвечая на острый нож, ухватившись за сталь ножа?
За кровавое остриё не предъявишь счёт небесам,
потому как за всё своё пусть заплатит ответчик сам».

...И, прозрев грядущую брань, предки с Запада на Восток
утащили в Тмутаракань и в Московию этот слог.
Сам ответит пусть словоблуд, лицемер, лжесвидетель, тать:
там — поддельная подпись, тут — вовсе буквы не разобрать.
А под утро солнце опять нам приносит с Запада весть:
ни главы преклонить, ни встать — всюду там и лихва, и лесть.

Бродит с бубном гремющий смех, ложь, как ржа, разъела Престол,
и богиня Смерти при всех положила ноги на стол.
И остался лишь дом пустой: нет известий от новостей.
Мелет чёрный во тьме густой, весь в крови, язык без костей.
Всё подписано, сшито там, где проваливается земля.
И под ветром бьют по устам неоплатные векселя.